ЛИТ 18429

ЛУНАЧАРСКИЙ

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СИЛУЭТЫ

МОСКВА

А. ЛУНАЧАРСКИЙ

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СИЛУЭТЫ

Дом Плеханова
90-1718/4сх

МОСКВА—1923.

Георгий Валентинович Плеханов.

Несколько встреч с Георгием Валентиновичем Плехановым.

Личных воспоминаний о Георгие Валентиновиче у меня немного. Я встречался с ним не часто. Встречи эти, правда, не лишены были некоторого значения, и я охотно поделюсь моими воспоминаниями.

В 1893 году я уехал из России в Цюрих, так как мне казалось, что только за границей я смогу приобрести знания, необходимого для меня объема и характера. Мои друзья Линдфорс дали мне рекомендательное письмо к Павлу Борисовичу Аксельроду.

Сам Аксельрод и его семья приняли меня с очаровательным гостеприимством. Я был уже к этому времени более или менее сознательным марксистом и считал себя членом социал-демократической партии (мне было 18 лет, и работать как агитатор и пропагандист я начал еще за два года до отъезда за границу). Все же я чрезвычайно многим обязан Аксельроду в моем социалистическом образовании, и как ни далеко мы потом разошлись с ним, я с благодарностью числю его среди наиболее повлиявших на меня моих учителей. Аксельрод в то время был преисполнен благоговения и изумления перед Плехановым и говорил о нем с обожанием. Это обожание, присоединяясь к тем блестящим впечатлениям, которые я сам имел о «Наших разногласиях» и некоторых статьях Плеханова, преисполняло меня каким-то тревожным, почти жутким ожиданием встречи с человеком, которого я, без большой ошибки, считал великим.

Наконец, Плеханов приехал из Женевы в Цюрих. Поводом был большой конфликт между польскими социалистами по национальному вопросу. Во главе национально окрашенных социалистов в Цюрихе стоял

Иодко. Во главе будущих наших товарищей стояла уже тогда блестящая студентка Цюрихского университета Роза Люксембург. Плеханов должен был высказаться по поводу конфликта. Поезд каким-то образом запоздал, и поэтому первое появление Плеханова обставилось для меня самой судьбой несколько театрально. Уже началось собрание, Иодко уже с полчаса с несколько скучным эмфазом защищал свою точку зрения, когда в зал союза немецких рабочих «Eintracht» вошел Плеханов.

Ведь, это было 28 лет тому назад! Плеханову было, вероятно, лет тридцать с небольшим. Это был скорее худой, стройный мужчина в безукоризненном сюртуке, с красивым лицом, которому особую прелесть придавали необычайно блестящие глаза и чрезвычайно большое своеобразие густые, косматые брови. Позднее, на Штудгардском съезде одна газета говорила о Плеханове Eine Aristokratische Erscheinung [1]). И действительно, в самой наружности Плеханова, в его произношении, голосе и во всей его конструкции было что-то коренным образом барское,—с ног до головы барин. Это, разумеется, могло бы раздражить пролетарские инстинкты, но, если принять во внимание, что этот барин был крайним революционером, другом и пионером рабочего движения, то, наоборот, аристократичность Плеханова казалась трогательной и импонирующей: «Вот какие люди с нами».

Я здесь не хочу заниматься характеристикой Плеханова,—это другая задача,—но отмечу мимоходом, что в самой внешности Плеханова и в его манерах было что-то такое, что невольно меня, тогда еще молодого заставило подумать: должно быть, и Герцен был такой.

Плеханов сел за стол Аксельрода, где и я сидел, но мы обменялись только несколькими фразами.

Что касается самого выступления Плеханова, то оно меня несколько разочаровало, может быть после острой, как бритва, и блестящей, как серебро, речи Розы. Когда прекратились громкие аплодисменты в ответ на ее речь, старик Грейлих, уже тогда седой, уже тогда похожий на Авраама (а между тем, я и 25 лет после видел его таким же почти энергичным, хотя, увы, вместе с Плехановым уже не принадлежавшим к нашей

[1]) Аристократическая внешность.

передовой колонне социализма), так вот Грейлих взошел на кафедру и сказал каким-то особенно торжественным тоном: «Сейчас будет говорить товарищ Плеханов. Говорить он будет по-французски. Речь его будет переведена, но вы, друзья мои, все-таки старайтесь сохранить безусловную тишину и следите со вниманием за его речью».

И это призывавшее к благоговейному молчанию выступление председателя и огромные овации, которыми встретили Георгия Валентиновича, все это взволновало меня до слез, и я, юноша,—так что простительно было,—был необычайно горд великим соотечественником. Но, повторяю, сама речь его меня несколько разочаровала.

Плеханов хотел по политическим соображениям занять промежуточную позицию. Ему, очевидно, неловко было, как русскому, высказаться против польского национального душка, хотя, вместе с тем, он был целиком теоретически на стороне Люксембург. Во всяком случае, он с большой честью и с большим изяществом вышел из своей трудной задачи, сыгравши роль многоопытного примирителя.

Георгий Валентинович остался тогда на несколько дней в Цюрихе, и я, конечно, рискуя даже быть неделикатным, просиживал целые дни у Аксельрода, ловя всякую возможность поговорить с ним.

Возможностей предоставлялось много. Плеханов разговаривать любил. Я был мальчишка начитанный, неглупый и весьма задорный. Несмотря на свое благоговение перед Плехановым, я петушился и, так сказать, лез в драку, особенно по разным философским вопросам. Плеханову это нравилось, иногда он шутил со мной, как большая собака со щенком, каким-нибудь неожиданным ударом лапы валил меня на спину, иногда сердился, а иногда весьма серьезно разъяснял.

Плеханов был совершенно несравнимым собеседником, по блеску остроумия, по богатству знаний, по легкости, с которой он мог мобилизовать для любой беседы огромное количество духовных сил. Немцы говорят: Geistreich — богатый духом. Вот именно таким и был Плеханов.

Должен, впрочем, сказать, что мою веру в громадное значение левого реализма, т.-е. эмпирио-критики Авенариуса Плеханов не поколебал, ибо и трудно

было ему ее критиковать, так как он не дал себе труда познакомиться с философией Авенариуса.

Шутливо иногда он говорил мне: «Давайте лучше поговорим о Канте, если вы уж хотите непременно барахтаться в теории познания,—этот, по крайней мере, был мужчина». Может быть, Плеханов и мог бы нанести сокрушительный удар, он часто попадал вправо и влево, как он сам любил говорить—«мимо Сидора в стену».

Зато неизмеримо огромное влияние на меня имели эти беседы, поскольку они в конце-концов свернули на великих идеалистов Фихте, Шеллинга и Гегеля.

Я, конечно, уже тогда превосходно знал, какое огромное значение имеет Гегель в истории социализма и насколько невозможно правильное историческое понимание марксистской философии и истории без хорошего знакомства с Гегелем.

Позднее, Плеханов укорял меня в одном из наших публичных диспутов за то, что я не проштудировал, как следует, Гегеля. Отчасти, благодаря Плеханову, я все-таки это довольно тщательно проделал, но и без Плеханова я, конечно, почел бы это своим долгом, как человек, готовившийся стать теоретиком социализма. Другое дело Фихте и Шеллинг. Мне казалось за глаза достаточным знакомство с ними по истории философии, я считал, что это уже совсем превзойденная стадия, и мало интересовался их учением. Плеханов же с неожиданным для меня восторгом отозвался о них. Ни на одну минуту не впадая, конечно, в какую-либо ересь, в роде—назад к Фихте! что потом провозгласил Струве,—он, однако, произнес передо мной такой пламенный, глубокий и великолепный дифирамб Фихте и Шеллингу, нарисовал такие монументальные портреты их, как носителей определенных мировоззрений и мирочувствований, что я немедленно же побежал оттуда в Цюрихскую национальную библиотеку и погрузился в чтение великих идеалистов, наложивших на все мое миросозерцание, могу сказать больше, на всю мою личность огромную, неизгладимую печать.

Бесконечно жаль, что Плеханов только бегло высказывался по поводу великих идеалистов. Знал он их чрезвычайно основательно, даже до удивительности точно, и мог бы написать книгу о них, конечно, не менее блестящую, чем его книга о материалистических предшественниках марксизма. Правда, я думаю, что в общем все же несколько базаровскому уму Плеханова его вечные друзья Гольбах и Гельвицкий из предшественников марксизма были роднее, чем великие идеалисты. Но глубоко погрешил бы против Плеханова тот, кто подумал бы, что другой мощный корень марксизма им игнорировался.

Георгий Валентинович предложил мне переехать к нему, чтобы продолжить наши беседы; но только уже значительно позднее, может быть, даже приблизительно через год, точно не помню, я смог приехать в Женеву из Парижа. Это тоже были счастливые дни. Георгий Валентинович писал в то время свое предисловие к «Манифесту коммунистической партии» и очень интересовался искусством. Я им интересовался всегда со страстью. И поэтому в этих наших беседах вопрос зависимости надстройки от экономической базы, в особенности в терминах мира искусства, был главным предметом наших разговоров. Я встречался с ним тогда у него в кабинете на rue de Candole, а также в пивной Ландольта, где мы, меняя не мало кружек пива, проводили иногда несколько часов.

Помню, какое огромное впечатление произвело на меня одно обстоятельство. Плеханов ходил по своему кабинету и что-то мне втолковывал. Вдруг он подошел к шкафу, вынул большой альбом, положил его на стол передо мною и раскрыл. Это были чудесные гравюры Бушэ, крайне фривольные и, по моим тогдашним суждениям, почти порнографические. Я немедленно высказался в том смысле, что вот это-де типичный показатель распада правящего класса перед революцией.

«— Да,—сказал Плеханов, смотря на меня своими блестящими глазами,—но вы посмотрите, как это превосходно, какой стиль, какая жизнь, какое изящество, какая чувственность».

Я не стану передавать дальнейшей беседы,—это значило бы написать целый маленький трактат об искусстве рококо. Я могу сказать только, что важнейшие выводы Гаузенштейна были более или менее предвосхищены Плехановым, хотя не помню, чтобы он совершенно определенно сказал бы мне, что искусство Бушэ являлось, в сущности говоря, искусством буржуазным, вылившимся лишь в рамки придворного быта.

Для меня, главным образом, был удивителен его эстетический дар,—эта свобода суждения в области

искусства. У Плеханова был огромный вкус, как мне кажется, безошибочный. О произведениях искусства, ему не нравившихся, он умел высказываться в двух словах с совершенно убийственной иронией, которая обезоруживала, выбивая у вас шпагу из рук, если вы с ним были не согласны. О произведениях искусства, которые он любил, Плеханов говорил с такой меткостью, а иногда с таким волнением, что отсюда понятно, почему Плеханов имел такие огромные заслуги в области именно истории искусства. Его сравнительно небольшие этюды, обнимающие не так много эпох, стали краеугольными камнями в дальнейшей работе в этом направлении.

Никогда ни из одной книги, ни из одного посещения музея не выносил я так много действительно питающего и определяющего, как из тогдашних моих бесед с Георгием Валентиновичем.

К сожалению, остальные наши встречи происходили уже при менее благоприятных условиях и на политической почве, где мы встречались более или менее противниками.

1907 г.

В следующий раз встретился я с Плехановым только на Штудгардском конгрессе. Наша большевистская делегация поручила мне оффициальное представительство в одной из важнейших комиссий Штудгардского конгресса, именно в комиссии по определению взаимоотношения партии и профсоюзов. Плеханов представлял там меньшевиков. Сначала у нас произошел диспут в пределах нашей собственной русской делегации. Большинство голосов оказалось за нашу точку зрения, колеблющиеся к нам присоединились. Дело шло, конечно, не о какой-либо моей личной победе над Плехановым. Плеханов с огромным блеском защищал свою тезу, но сама теза никуда не годилась. Плеханов настаивал на том, что близкий союз партии и профсоюзов может быть пагубным для партии, что задача профсоюзов в улучшении положения рабочих в недрах капиталистического строя, а задача партии—разрушение его. В общем он стоял за независимость. Во главе противоположного направления стоял бельгиец де-Брукер. Де-Брукер в то время был очень левый и очень симпатично мыслящий социалист, позднее он сильно свихнулся. Де-Брукер стоял на точке зрения необходимости пронизать профессиональное движение социалистическим сознанием неразрывного единства рабочего класса, руководящей роли партии и т. д. В тогдашней атмосфере горячего обсуждения вопроса о всеобщей стачке, как орудии борьбы, все были склонны пересмотреть свои прежние взгляды, все считали, что парламентаризм становится все более недостаточным оружием, что партия без профсоюзов революции не совершит, и что на другой день после революции профессиональные союзы должны сыграть капитальную роль в устройстве нового мира и т. д. Поэтому позиция Плеханова, общим интернациональным представителем которой был Гэд, была в конце-концов отвергнута и комиссией Конгресса и самим Конгрессом.

В то время в Плеханове меня поразила некоторая черта староверчества. Его ортодоксилизм впервые показался мне несколько окостеневшим. Тогда же я подумал, что политика далеко не самая сильная сторона в Плеханове. Впрочем, об этом можно было догадаться по его странным метаниям между обоими большими фракциями нашей партии.

1906 г.

Дальше следует встреча на Стокгольмском съезде. Тут только что упомянутая черта политики Плеханова появилась со всей яркостью. Плеханов отнюдь не был уверенным меньшевиком на этом съезде,—он и здесь хотел сыграть отчасти примиряющую роль, стоял за единство (ведь это был объединительный съезд), утверждал, что в случае дальнейшего роста революции меньшевики не найдут нигде союзников, как только в рядах большевиков и т. д. Вместе с тем, его пугала определенность позиции большевизма. Ему казалось, что большевизм не ортодоксален. В самом деле, главной отличительной чертой между фракциями в то время была политика по отношению к крестьянству.

Схема революции перед меньшевиками была такова: в России происходит буржуазная революция, которая приведет к конституционной монархии, в лучшем случае к буржуазной республике. Рабочий класс должен поддержать протаганистов этой революции капиталистов, в то же время отвоевывая у них выгодные позиции для грядущей оппозиции, а—в конце-концов—и для революции. Между революцией буржуазной и революцией социалистической предполагалась пропасть времени.

Тов. Троцкий стоял на той точке зрения, что обе революции, хотя и не совпадают, но связываются между собою так, что мы имеем перед собою перманент-

ную революцию. Войдя в революционный период через буржуазный политический переворот русская часть человечества, а рядом с нею и мир уже не сможет выйти из этого периода до завершения социальной революции. Нельзя отрицать, что, формулируя эти взгляды, т. Троцкий выказал большую проницательность, хотя и ошибся на пятнадцать лет. Между прочим, я должен сказать, что в одной передовой статье в «Новой жизни» я тоже высказался в смысле возможности захвата власти пролетариатом и сохранения тем не менее под его руководством быстро врастающего в социализм капитализма. Я тогда рисовал картину чрезвычайно близкую к нынешнему НЭП, но получил нагоняй от Л. Б. Красина, который нашел статью неосторожной и не марксистской.

Большевики, тов. Ленин в первую голову, действительно были осторожны, отнюдь не говорили, что начали социальную и пролетарскую революцию, но они считали, что революцию эту нужно продвинуть, как можно дальше, не занимаясь теоретическими гаданиями и предсказаниями, которые вообще не в духе Владимира Ильича. Практически большевики уверенно шли по правильной дороге. Для устройства плебейской революции, революции по типу великой французской с возможностью продвижения дальше 93 года,—союз с буржуазией никуда не годился, поэтому наша тактика была разрыв с буржуазией. Но мы отнюдь не хотели изолировать пролетариат. Мы указывали ему на огромную задачу, организацию вокруг него крестьянства, в первую очередь крестьянской бедноты. Плеханов этого понять не мог. Обращаясь к Ленину, он говорил ему: «В новизне твоей мне старина слышится!» Какая старина?—Эсэровская. Плеханову казалось, что сближение наше с крестьянством заставит нас пойти вместе с эсерами и потерять нашу типичную пролетарскую физиономию.

Не нужно с совершенным легкомыслием относиться к этому непониманию Плеханова, с легкомыслием, которое сводило бы это все к узости и закорузлости плехановской сверхортодоксальности. Разве в нашу великую революцию мы не вынуждены были одно время включить в правительство эсеров, хотя бы то и левых, разве это было вполне бесопасно? Разве мы не радуемся сейчас, что своей мальчишеской политикой левые эсеры произвели сами отсечение от правительства? Эти опасения на счет омужичения Советской власти, которым предаются иногда т.т. Шляпников и Коллонтай и др., неосновательны, но почва, их питающая, каждому ясна. Сейчас даже нельзя с полной уверенностью сказать, как пройдет равнодействующая рабоче-крестьянского правительства, хотя все говорит за правильность предсказания тов. Ленина на Партийном съезде, что огромный груз крестьянства, который мы после смычки вынуждены будем нести за собою, замедлит наше движение, но «тяжкой твердостью своею его стремление крепя», не заставит его уклониться от прямого направления на коммунизм.

Но все это выяснилось позднее. В то время было ясно одно: рабоче-крестьянская революция есть пролетарская революция, буржуазно-рабочая революция есть измена рабочему классу. Для нас это было ясно, но не для Плеханова. Я помню, что во время очень кусательной речи Плеханова сидевший рядом со мною Алексинский, тогда крайний большевик, чуть не бросился на него с кулаками, вовремя, однако, подхваченный за фалду отнюдь, впрочем, небезтемпераментным тов. Седым.

Увы! Печальным союзом Алексинского с Плехановым все это должно было позднее кончиться.

Я возражал Плеханову на стокгольмском съезде. Мое возражение сводилось, главным образом, к противопоставлению его взгляду взгляда другого ортодокса-Каутского. Это было легко, ибо в то время Каутский в брошюре «Движущая сила русской революции» высказался в нашем духе. Но Плеханов особенно рассердился на то, что на его упрек в бланкизме я сказал, что он имеет о практике активной подготовки и активного руководства революцией представление, почерпнутое, повидимому, из оперетки «Дочь мадам Анго». В последней реплике по этому поводу Плеханов говорил всяческие сердитые слова.

Опять прошло несколько лет, и мы встретились на копенгагенском международным конгрессе, уже после того, как надежды на первую русскую революцию были потеряны. На копенгагенском конгрессе я присутствовал в качестве представителя группы «Вперед» с совещательным голосом, но практически я совершенно сошелся с большевиками и, так сказать, принят был в их среду и даже уполномочен ими представлять их опять-таки в одной из важнейших комиссий: по коопе-

ративам. Здесь произошло тоже самое. Плеханов стоял за строжайшее разграничение партии от кооперативов, главным образом, боясь прилипчивости лавочного кооперативного духа.

Надо сказать, что Плеханов на копенгагенском съезде стоял гораздо ближе к большевикам, чем к меньшевикам. Насколько я помню, Владимир Ильич не слишком тогда интересовался вопросами о кооперативах, но все же в русской делегации был заслушан мой доклад и возражения Плеханова. Разногласия были приблизительно параллельны тем, которые были между нами в Штудгардте по поводу профсоюзов. В этот раз, однако, Плеханов мало работал по соответственному вопросу, так что спорить с ним особенно не приходилось.

За то у нас установились почему-то очень хорошие взаимные личные отношения. Он несколько раз приглашал меня к себе, мы оба вместе уезжали с заседаний домой, и он с удовольствием делился со мною впечатлениями, я сказал бы, главным образом, беллетристического характера, о конференции. Плеханов к этому времени уже очень постарел и был болен, болен весьма серьезно, так что мы все за него боялись. Это не мешало тому, чтобы он был попрежнему блестяще остер, давал чудесные характеристики направо и налево, причем заметно было и сильное пристрастие. Любил он, главным образом, старую гвардию. Особенно тепло и картинно говорил он о Геде, о тогда уже покойном Лафарге. Заговаривал я с ним и о Ленине. Но тут Плеханов отмалчивался, и на мои восторги отвечал не то, чтобы уклончиво, скорей даже сочувственно, но неопределенно. Помню я, как во время одной из речей Вандервельде, Плеханов сказал мне: «Ну, разве не протодиакон?». И это словечко так в меня запало, что для меня и до сих пор великолепные протодиаконские возглашения и ораторский жар знаменитого бельгийца сливаются во едино. Помню также, как во время речи Бебеля Плеханов поразил меня скульптурной меткостью своего замечания: «Поглядите на старика, совершенно голова Демосфена». В моей памяти выросла сейчас же известная античная статуя Демосфена, и сходство показалось мне действительно разительным.

После копенгагенского съезда мне пришлось делать доклад о нем в Женеве, и при этом Плеханов был

моим оппонентом. Еще несколько раз устраивались дискуссии, иногда философского характера (по поводу, напр., доклада Деборина), и на них мы с Плехановым встречались. Я ужасно любил дискуссировать с Плехановым, признавая всю огромную трудность таких дискуссий, но давать здесь какой бы то ни было отчет об этом не решаюсь, так как, может быть, могу быть односторонним.

После отпадения Плеханова от революции, т.-е. уклонения его в социал-патриотизм, я с ним ни разу не встречался.

Повторяю, здесь дело идет не о характеристике Плеханова, как человека, мыслителя или политика, а о некотором взносе в литературу о нем из запасов моих личных воспоминаний. Быть может, они окрашены несколько субъективно, иначе человек писать не может. Пусть с этой субъективной окраской и примет их читатель. Такую большую фигуру объективно вообще не в силах охватить один человек. Из ряда суждений выяснится в конце-концов этот монументальный образ. Но одно могу сказать, часто мы сталкивались с Плехановым враждебно, его печатные отзывы обо мне в большинстве случаев были отрицательными и злыми, и, несмотря на это, у меня сохранилось о Плеханове необычайно сверкающее воспоминание, просто приятно бывает подумать об этих полных блеска глазах, об этой изумительной находчивости, об этом величии духа, или, как выражается Ленин, физической силе мозга, об аристократическом челе великого демократа. Даже самые огромные разногласия в конце-концов, приобретя исторический интерес, скинутся в значительной мере с чаши весов, блестящие же стороны личности Плеханова останутся на веки.

В русской литературе Плеханов стоит в самом близком соседстве с Герценом в истории социализма в том созвездии (Каутский, Лафарг, Гед, Бебель, старый Либкнехт), которое лучисто окружает два основных светила, полубогов Плеханова, о которых он, сильный, умный, острый, гордый, говорил, однако, не иначе, как в тоне ученика:—Маркс и Энгельс.